

Валерий Брюсов

Д. С. Мережковский
как поэт



Валерий Яковлевич Брюсов

Д. С. Мережковский как поэт

«Трудно оценить и судить писателя, круг деятельности которого еще не завершен. Мы совершенно иначе относимся к „Вертеру“, чем те, кто были современниками его первого появления и не знали, что Гете напишет две части „Фауста“ и „Западно-Восточный Диван“. Первые сочинения Ницше, его „Рождение Трагедии“, или „Веселая Наука“ получили совершенно новый смысл, после того, как прозвучали речи Заратустры. Фет, затеплив „Вечерние Огни“, озарил и преобразил неожиданным и проникновенным светом свои юношеские подражания Гейне и Мюссе. Подобно этому, каждая новая книга Д. С. Мережковского объясняет нам, его современникам, предыдущие, каждая новая фаза его миропонимания расширяет, углубляет, осмысливает более ранние...»

Содержание

1.....	0005
2.....	0015

Валерий Брюсов
Д. С. Мережковский как поэт

Трудно оценить и судить писателя, круг деятельности которого еще не завершен. Мы совершенно иначе относимся к «Вертеру», чем те, кто были современниками его первого появления и не знали, что Гете напишет две части «Фауста» и «Западно-Восточный Диван». Первые сочинения Ницше, его «Рождение Трагедии», или «Веселая Наука» получили совершенно новый смысл, после того, как прозвучали речи Заратустры. Фет, затеплив «Вечерние Огни», озарил и преобразил неожиданным и проникновенным светом свои юношеские подражания Гейне и Мюссе. Подобно этому, каждая новая книга Д. С. Мережковского объясняет нам, его современникам, предыдущие, каждая новая фаза его миропонимания расширяет, углубляет, осмысливает более ранние.

При беглом обзоре, Д. Мережковский кажется одним из самых непоследовательных писателей. В первом сборнике своих стихов (1888 г.) он – поэт толпы, ее молочных забот, печалей и радостей, певец милосердия, за-

ступник униженных и оскорбленных. В «Новых Стихотворениях» (1895 г.) он – декадент, эстет, бодлерианец, поклонник Эдгара По, проповедник греха. В «Вечных Спутниках» (1899 г.) и «Юлиане Отступнике» (1899 г.) он – язычник, испытывающий, несмотря на все оговорки, какую-то непобедимую брезгливость к христианству, к галилейству. В исследовании о «Толстом и Достоевском» (1900-2 г.) и в эпосе о «Петре и Алексее» (1905 г.) он дает самую убедительную проповедь христианства, какая когда-либо была написана на русском языке. В своих позднейших произведениях он выступает уже с суровой критикой религии, остановившейся на Христе, на одном только Втором Лице, не проходящей *через, сквозь* него к Духу. Нет, кажется, такой точки зрения, на которой не стоял бы Мережковский, нет такого философского мировоззрения, которого бы он не защищал со страстностью и убежденностью.

Однажды Мережковский всенародно каялся в своих заблуждениях и словесно бичевал себя с аскетическим смирением. «Я теперь сознаю, – писал он тогда, – как близок был к Ан-

тихристу, какую страшную силу его притяжения испытал на себе, когда бредил о грядущем папе-кесаре, царе-священнике как предтече Христа-Грядущего. Но я благодарю Бога за то, что прошел этот соблазн до конца». Признание, конечно, соблазнительное для учеников Д. Мережковского. Учение начинается с веры, но как поверить в слово учителя, если он время от времени свои недавние убеждения объявляет соблазном? Невольно колеблешься, как же принимать его новую проповедь? А вдруг, еще через сколько-нибудь лет, и учение о вере «через» Христа, о религии Святой Троицы, объяснит он «страшной силой Антихристова притяжения»? И закрадывается мысль, не были ли правы те враждебные Мережковскому критики, которые все его проповеди объявляли, в лучшем случае, «минутным увлечением *новыми* словами», а в худшем – рекламным приемом беззастенчивого писателя, обращающегося со своими убеждениями, как Алкивиад со своей собакой[1]?

Однако, стоит несколько пристальнее всмотреться в смену миросозерцания Мереж-

ковского, чтобы увидеть в них как раз противоположное. При всех частных противоречиях, в развитии его идей есть необыкновенная стройность, какая-то математическая логичность. Постепенный ход его мысли хочется изобразить в форме идеально правильной кривой, каждый отрезок которой определяет ее всю. Когда эта кривая будет вычерчена до конца, мы увидим, что все, казавшееся уклонением с пути, было лишь выполнением строгого закона, раскрытием единой неизбежной формулы. Слышав религиозную проповедь Мережковского, начинаешь понимать, почему в первой его книге стояли эпиграфы из Святого Писания, казавшиеся столь неуместными там, почему сборник «Символы» открывался стихотворением «Бог». Узнав учение Мережковского о Христе Грядущем, о Христе Славы и Силы, видишь, что это учение с необходимостью включает в себя, как существенную часть, язычество. Наконец, после критики Мережковского исторического христианства, оправдываешь отношение к «галилейству» его первых книг. От позитивизма и позитивной морали – к возвеличе-

нию своего я, к «человекобожеству»; от языческого культа личности – к мистическому, к «богочеловечеству»; от религии Христа Пришедшего, – к учению о Христе Грядущем и далее – к религии Святой Троицы, к Церкви Иоанновой: – все это один путь, неизменно устремленный вперед, в котором есть неожиданные переходы, но нет нигде поворота назад.

Мережковский напоминает, что Гоголь считал главным делом своей жизни одно: «как выставить черта смешным»[2]. Но именно это дело оставалось всегда главным и для самого Мережковского, при всех переменах его убеждений. Черт, по определению Мережковского, это – воплощение «смердяковского духа», «лакей» по природе, вечная «срединность» и «серость», «бессмертная пошлость людская». И неустанные переходы Мережковского из одного стана в другой объясняются прежде всего тем, что везде видел он торжество своего врага. Он не мог не почувствовать властного его присутствия и в среде русских либералов-позитивистов, которые в конце 80-х годов, во имя высоких

принципов 60-х годов, боялись всякого движения мысли вперед; – и у декадентов, быстро изготовивших прочные и дешевые шаблоны для повседневного употребления; – и в религиозно-философских собраниях, где собирались светские дамы, «интересующиеся» религией, и важные иереи, снисходящие до интеллигенции; – и на митингах всяких прогрессивнейших партий, где всем вменялось в обязанность быть похожими друг на друга; – и, наконец, в последние дни, у «вехистов», которые во многом отпавлялись от идей самого Мережковского. И, конечно, если и еще раз, в новых учениках своих, Мережковский вновь увидит знакомый лик Черта, харю Хама, – он опять возьмет свой страннический посох и не побоится еще и еще «нового пути».

Черт есть вечная половинность, полувера, полузнание, полуискусство. Поэтому борьба с Чертом начинается борьбой за полноту, за цельность, за истинную веру, за истинную науку, за истинное искусство. Здесь второе дело, которому никогда не изменял Мережковский: его культурное строительство. Отвергая бывших соратников, отрекаясь от недавних

алтарей, Мережковский оставался всегда верен великому (хотя и малому числом) масонству людей истинной культуры, верен алтарю, на котором разные века писали разные надписи: «эллинизм», «возрождение», «просвещение», «знание»... Как член этой общины Мережковский всегда был и остается, может быть, против своей воли, союзником тех, кто понял и оценил сделанное в конце прошлого века такими знаменосцами, как Ницше, Ибсен, Метерлинк, Уайльд. Мережковский может и часто должен нападать на то, чему они учили, но он понимает, что путь вперед лежит только через те скалистые высоты, на которые завели нас эти отважные «разведчики человечества». Вот почему, между прочим, Мережковский ближе любому «эстету» или «модернисту» (хотя бы они и были враждебны ему по убеждениям), чем многим из своих учеников (напр., иным членам «религиозно-философских собраний»), которые вряд ли способны понять истинный смысл его проповеди.

Наконец, третья характерная особенность всех литературных работ Мережковского –

это их общественное значение. Глубоко ошибаются те, которые Мережковского принимают за литератора *par excellence*[3]: напротив, в литературе (включая в нее и поэзию) он всегда видит не цель, но средство для выражения своих идей. В его книгах и статьях этика всегда преобладает над эстетикой, «что» над «как». Повторяя заповеди милосердия Будды (поэма «Будда»), провозглашая Красоту единой надеждой мира («Леда»), вскрывая глубочайшую потребность синтеза язычества и христианства (трилогия романов), – Мережковский в выборе этих тем руководствуется соображениями не художника, но общественного деятеля. Он всегда, в драмах, как в статьях, в стихах, как в фельетонах, стремится не только сказать, но и доказать. «Великая русская литература кончилась, теперь настало великое русское делание»[4], – писал Мережковский. Но суть не в том, кончилась или нет литература, русская и всякая другая, а в том, что сам он жаждет не литературы, а «делания». Он по природе учитель, пророк, деятель, и только в силу какого-то органического недостатка принужден довольствоваться-

ся лишь одной формой деятельности: словом писателя. В этом отношении характерно, почти символично, что Мережковскому так прищлись по сердцу (так любовно он повторяет и толкует!) *недоговоренные* слова Гоголя: «мы еде...»

Остается добавить, что Мережковский, хотя ближайшим образом он имеет в виду всегда своих «сограждан», наше русское общество конца минувшего и начала наставшего столетия, – в сущности, обращается со своей проповедью ко всем своим современникам. «Ежели последняя цель христианства, – пишет сам Мережковский, – не дело одного личного спасения, но и спасения всеобщего, всечеловеческого, которое достигается в процессе всемирного развития, то нельзя не признать, что последний идеал Богочеловечества достигим только через идеал всечеловечества, т. е. идеал вселенского, все народы объединяющего просвещения, вселенской культуры». Этому идеалу «вселенской культуры» Мережковский не переставал служить ни на одной из стадий своего развития. В этом смысле Мережковский – один

из немногих у нас писателей для взрослых. В России особенной заслугой считается быть популяризатором уже кем-то когда-то сказанных истин, и все писатели (как чуть не все журналы с «Миром Божиим» во главе) стремятся писать «для самообразования». При всей почтенности этой педагогической задачи, ревностное выполнение ее всеми просто упразднило бы существование русской литературы. Мережковский – один из двигателей, а не распространителей, он ставит вопросы, а не повторяет старые ответы, он писатель – европейский, а не местный, русский.

Мережковский-поэт неотделим от Мережковского-критика и мыслителя. Его романы, драмы, стихи говорят о том же, о чем его исследования, статьи и фельетоны. «Символы» развивают мысли «Вечных Спутников», «Юлиан» и «Леонардо» воплощают в образах идеи книги о «Толстом и Достоевском», «Павел» и «Александр I и декабристы» дают предпосылки к тем выводам, которые изложены Мережковским на столбцах «Речи» и «Русского Слова». Поэзия Мережковского – не ряд разрозненных стихотворений, подсказанных случайностями жизни, каковы, напр., стихи его сверстника, настоящего, прирожденного поэта, К. Фофанова. Поэзия Мережковского не импровизация, а развитие в стихах определенных идей, и ряд сборников его стихов кажутся стройными вехами пройденного им пути.

Каждая из четырех книг, в которых Мережковский собирал свои стихи, очень характерна.

Начинал он («Стихотворения» 1888 г.), по-

добно Минскому, как ученик Надсона. Одно из характернейших стихотворений первой книги Мережковского говорит нам:

*Не презирай толпы! безжалостной
и гневной
Насмешкой не клейми их горестей
и нужд.*

Однако с самого начала Мережковский сумел взять и самостоятельный тон. Когда вся «школа» Надсона, вслед за учителем долгом почитала «ныть» на безвременье и на свою слабость, Мережковский заговорил о радости и о силе.

*Да, жизнь, смотри: во мгле унылой
Не отступил я пред грозой,
Еще померимся мы силой,
Еще поборемся с тобой...
Чем глубже мрак, печаль и беды,
И раны сердца моего,
Тем будет громче гимн победы,
Тем будет выше торжество!*

С такой же бодростью, с такой же верой в себя произносил Мережковский ответный монолог женщине, отвергшей его любовь:

*Смотри: меня зовет огромный
светлый мир:
Есть у меня бессмертная приро-
да,
И молодость, и гордая свобода,
И Рафаэль, и Данте, и Шекспир!
И думать ты могла, что я то-
миться буду
Или у ног твоих беспомощно ры-
дать!*

Стихи риторичны, напыщены, но даже это характерно, потому что другие соратники Надсона именно риторики боялись всего больше (хотя и пользовались ею неумеренно, только в несколько ином обличий). Мережковскому *хотелось* риторики, чтобы яркостью и звонкостью ее порвать тот бесцветный, беззвучный туман, в который заволочена была жизнь русского общества 80-х годов.

Вторая книга стихов Мережковского, «Символы» (1892 г.), замечательна разносторонностью своих тем. Пушкин и античная трагедия, Эдгар По и Бодлер, древний Рим и Франциск Ассизский, трагизм повседневного и поэзия города, все то, что должно было через десять-пятнадцать лет занять все умы, заполю-

нить все книги, уже намечено в этом сборнике. То был первый дар Мережковского на алтарь той «вселенской культуры», служителем которой он признает себя и в самых последних своих статьях... В то же время были Мережковским начаты «Вечные Спутники», – «портреты из всемирной литературы».

«Символы» были книгой предчувствий. Мережковский предугадывал в ней наступление иной эпохи, более живой. По своему обыкновению, придавая совершающимся вокруг него событиям титанический облик, он писал:

*Грядите, новые пророки,
Грядите, вещи певцы,
Еще неведомые миру!*

(Наше русское «возрождение» 90-х годов представлялось ему чем-то вроде великого «Возрождения» XVI в., как позднее великий развал, последовавший за нашей революцией, предощущал он как конец вселенной, как близость «второго пришествия».)

Менее чувствовались в «Символах» религиозные искания Мережковского. Правда,

книга открывалась стихами «Бог»:

*Везде я чувствую, везде
Тебя, Господь, – в ночной тиши,
И в отдаленнейшей звезде
И в глубине моей души...*

Но смысл этого признания был, вероятно, темен и для самого автора...

Третий сборник стихов Мережковского, «Новые стихотворения» (1896 г.), гораздо уже по захвату, чем «Символы», но гораздо острее. Успокоенность «Символов» перешла здесь – в постоянную тревогу, объективность более ранних стихов – в напряженный лиризм. В «Символах» Мережковский почитал себя служителем каких-то «покинутых богов»:

*Мы бесконечно одиноки,
Богов покинутых жрецы...*

За годы, прошедшие до появления «Новых стихотворений», Мережковский сам покинул этих богов и говорил о себе и своих соратниках:

*Дерзновенны наши речи...
.....
Мы для новой красоты*

*Нарушаем все законы,
Преступаем все черты.*

Дерзновенье – главный стимул поэзии Мережковского того времени. Его увлекают образы Титанов, грозящих олимпийцам, Леонардо да Винчи, проникшего «в глубочайшие соблазны всего, что двойственно», Микеланджело, у которого были «отчаянью подобны вдохновенья», Иова, восставившего величайшие хуления на Всевышнего, и в то же время образы отверженности, униженности, одиночества пророка «в пустыне», уничижения мудреца среди «глупцов». Как в «Символах» были намечены те идеи, которыми целое десятилетие жило после того русское общество, так в «Новых стихотворениях» затронуты все темы, которые пышно и полно разработала вскоре школа наших «символистов».

«Новые стихотворения» писались одновременно с романом о Юлиане и проникнуты тем же духом – язычества. В культе «великого веселия Олимпийцев» и в культе «безгрешности плоти» Мережковский видел тогда спасение от того худосочия, которым страдало и русское общество последних десятилетий

и вся европейская культура последнего времени. Назначение «Новых стихотворений» было – звать к радости, к силе, к нагоде тела, к дерзанию духа.

Следующая четвертая книга стихов Мережковского, «Собрание стихов» (1909 г.), появилась почти десять лет спустя. Новых стихотворений в ней очень мало, и это скорее антология, чем новая книга. Но характерный выбор стихов, сделанный автором, придал ей и новизну, и современность. В свое маленькое «Собрание стихов» Мережковский включил лишь те стихи, которые отвечали его изменившимся взглядам. Старые стихи в новом расположении приобрели новый смысл, и несколько стихотворений, написанных за последние годы, озарили всю книгу особым, ровным, но неожиданным светом.

Недавний проповедник воскресших богов, ярый враг галилеян, – Мережковский обратился к христианству. «Красоту», эту последнюю надежду мира, признал он бессильной: лезвие «дерзновения» – слишком ломким; алтарь «всемирной культуры» – лишенным божества. Но «обращение» Мережковского тем

отличалось от многих других обращений, что в христианстве хотел он обрести не последнее утешение, но новое оружие, после того как другие оказались недостаточными. На Крест он взглянул как на меч, и озаглавил одну из своих книг евангельскими словами: «Не мир, но меч»[5]. Христа Распятого и Грядущего сделал он своим союзником в достижении тех же целей, к которым раньше стремился через кротость Будды, через веселие Олимпийцев, через соблазны Леонардо. Обращение Мережковского было переменной убеждений, но не было изменой.

Лейтмотив сборника – заключительные стихи «молитвы о крыльях»:

*Дай нам крылья, дай нам крылья,
Крылья духа Твоего!*

Желанием веры, более чем самую верую, проникнуты все стихотворения книги. «Лгу, чтоб верить, чтобы жить», признается в одном месте Мережковский. Но ложь, о которой он говорит, состоит не в том, что он верой закрывает от себя все страшное в жизни, а, наоборот, в том, что в глубине самой веры

усматривает он возможность нового сомнения. И, не без горечи, он так говорит о тех последних обетованиях христианства, которые так потрясли мысль Владимира Соловьева:

*Не плачь о неземной отчизне,
И помни, – более того,
Что есть в твоей мгновенной
жизни,
Не будет в смерти ничего!*

«Собрание стихов» вышло в годы перед нашей войной и нашей революцией, когда беспросветность русской действительности заставляла многих повторять молитву Мережковского о мистических крыльях. То была эпоха, когда неожиданный успех имел руководимый тем же Мережковским «Новый Путь», когда «весь Петербург» собирался слушать его же в зале Географического общества на религиозно-философских собраниях, когда одну минуту казалось, что именно в религии падет преграда, разделяющая «народ» и «интеллигенцию». «Символы» и «Новые стихотворения» были книгами предвестий: «Собрание стихов» было книгой сегодняшнего дня... Трагические события 1905–1906 гг. спутали

и порвали все нити прошлого...

После «Собрания стихов» Мережковский не издавал больше стихотворных сборников [6]. Надо желать, чтобы он решился, наконец, соединить в более полном собрании все написанные им стихи. Это будет единственная, в своем роде, летопись исканий современной души, как бы дневник всего того, что пережила наиболее чуткая часть нашего общества за последнюю четверть века. Этот исторический интерес навсегда остается за стихами Мережковского, как бы сурово ни приходилось их критиковать с чисто эстетической точки зрения.

Среди современных поэтов, по преимуществу лириков-индивидуалистов, Мережковский резко обособлен как поэт настроений общих. В то время как Бальмонт, Белый, Блок, даже касаясь тем общественных, «злободневных», говорили прежде всего о себе, о своем к ним отношении, Мережковский, даже в интимнейших признаниях, выражал то, что было, или скоро должно было стать (ибо, по большей части, он шел впереди других), всеобщим чувством, страданием многих

или надеждою многих. Подобно Минскому, Мережковский – «поэт гражданский», но тогда как Минский понимал это свое назначение в повторении общих мест, принципов и максим, найденных другими (таков, напр., его гимн «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»[7]) – Мережковский выполнял свое дело, страстно и настойчиво, уча в стихах тому, что почитал своей истиной. Мережковский на поэзию смотрел как на средство, и это его грех пред искусством; но он пользовался этим средством с великим умением, и употреблял его на цели благородные, и в этом его оправдание.

Следовало бы еще сказать о форме стихов Мережковского... Но это как-то ненужно. Излишне риторичная в его ранних стихах, щеголяющая насильственной упрощенностью в более поздних, она становится истинно простой, ясной, прозрачной в его последних стихотворениях. Но стихи Мережковского из тех, в которых форма не только имеет право, но и должна быть неощутимой, незаметной. Читая его стихотворения, надо не воспринимать их формы, – и такого впечатления Ме-

режковский умеет достигнуть. Там же, где он делает уступку красивости формы, где иногда становится даже виртуозом стиха (как, напр., в стихотворении «Леда»), – это кажется лишним и почти неприятным.

Сноски

...как Алкивиад со своей собакой. – «У Алкивиада была собака, удивительно красивая, которая обошлась ему в семьдесят мин, и он приказал отрубить ей хвост, служивший животному главным украшением. Друзья... рассказывали Алкивиаду, что все жалеют собаку и бранят хозяина, но тот лишь улыбнулся в ответ и сказал: „Что ж, все складывается так, как я хочу. А хочу я, чтобы афиняне болтали именно об этом, – иначе как бы они не сказали обо мне чего-нибудь похуже“» (Плутарх. Сравнительные жизнеописания. М., 1961. Т. 1. С. 277).

[^^^]

«как выставить черта смешным» – имеется в виду письмо Гоголя С. П. Шевыреву 15 (27) апреля 1847 г. из Неаполя.

[^^^]

3

По преимуществу (*фр.*).

[^^^]

«Великая русская литература кончилась, теперь настало великое русское делание». – В книге «Л. Толстой и Достоевский» Мережковский писал: «Конец русской литературы, то есть великого русского созерцания, есть начало великого русского действия» (Полное собр. соч. В 17 т. СПб.; М., 1912. Т. 9. С. 248).

[^^^]

5

«Не мир, но меч» – Мф. 14, 43.

[^^^]

В 1910 г. книгоиздательством «Просвещение» было повторено «Собрание стихов», изданное т-вом «Скорпион». Нового в изд. 1910 г. лишь поэма «Странные октавы» («Старинные октавы» – поэма Мережковского, впервые напечатанная в журнале «Золотое руно». 1906. № 1–4.), ранее напечатанная в «Золотом Руно». Проспект «Полного Собрания Сочинений» Д. Мережковского, предпринятого т-вом М. О. Вольф, обещает также только повторение этого тома.

[^^^]

«Пролетарии всех стран, соединяйтесь...» – Начало «Гимна рабочих» Н. М. Минского (1905). По поводу строки «Мир возникает из развалин, из пожарищ» в этом стихотворении, Мережковский писал: «„Из развалин, из пожарищ“ ничего не возникает, кроме Грядущего Хама».

[^^^]